

**ЮРИЙ
БОНДАРЬЕВ**

**ГОРЬКИЙ
ПОТ ВОЙНЫ**



**НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ**

Юрий Бондарев
Горький пот войны

«Алисторус»

2018

УДК 327
ББК 66.4

Бондарев Ю. В.

Горький пот войны / Ю. В. Бондарев — «Алисторус», 2018

ISBN 978-5-907211-16-2

Юрий Васильевич Бондарев – писатель и сценарист, участник Великой Отечественной войны, известнейший представитель «лейтенантской прозы». По его произведения поставлены фильмы «Горячий снег», «Батальоны просят огня», «Тишина» и многие другие. Летом 1942 года, после окончания школы и военного училища Юрий Бондарев воевал под Сталинградом, затем участвовал в форсировании Днепра, освобождении Киева, Житомира, Каменец-Подольского, сражался в Польше. Он писал об увиденном и пережитом: «Война – это горький пот и кровь, это после каждого боя уменьшающиеся списки у полкового писаря, это последняя сигарка, которую жадно докуривает, обжигая пальцы, наводчик, глядя на ползущие танки». В его воспоминаниях показаны суровый быт войны, героические поступки и трусость, страдания и боль – по словам одного из рецензентов, это «война в упор, на расстоянии винтовочного выстрела».

УДК 327

ББК 66.4

ISBN 978-5-907211-16-2

© Бондарев Ю. В., 2018

© Алисторус, 2018

Содержание

Вместо предисловия	6
Горький пот и кровь войны	9
Пыль	9
Нас было много	10
Атака	11
На рассвете после боя	12
В окружении. Рассказ лейтенанта	13
Женственность	14
Мгновение великой войны	15
Мое поколение	19
Заметки и воспоминания	21
Сталинград	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Юрий Васильевич Бондарев

Горький пот войны

© Бондарев Ю.В., 2020

© ООО «Издательство Родина», 2020

Вместо предисловия **Память войны**

В жаркий июльский день шел по дороге среди желтеющей пшеницы, овеянный парным теплом, тишиной, нежным пением жаворонков, то справа, то слева весело взмывающих в синеву, и думал о том, что жизнь прекрасна, когда можно видеть, чувствовать вот такое легкое небо, радость птиц, мягкое прикосновение воздуха к лицу и эти полевые запахи середины лета, напоенного солнцем.

Потом впереди на дороге увидел сельский грузовик с обшарпанными бортами, похожий на фронтной «зисок», серо-грязный от засохшей грязи; возле спущенного колеса, невнятно ругаясь, возился с домкратом загоревший дочерна паренек в майке, облупившийся нос сердито ерзал, морщился, всклокоченные волосы торчали, как у молодого петуха.

– Понятно, – сказал я, останавливаясь около машины. – Помощь нужна?

– Ни хрена подобного, – отозвался неприветливо паренек. – Сам обойдусь. И откуда он, черт плешивый, под колесом оказался? В поле на дороге – гвоздь! Вроде понарошку! Смехота в шляпе!

А я смотрел на этого загорелого паренька в пропотевшей майке, на его потрепанный грузовик и, кажется, улыбался, чувствуя нечто знакомое, близкое мне, как воспоминание, принесенное полузабытым детством в уральской степи или войной.

От грузовика пахло пыльными проселками, горячей сухостью соломы, каким-то масляным теплом, словно бы машинным потом, как пахли фронтные «ЗИСы» на дорогах России в те далекие годы, которые были моей военной молодостью. Да, тот же запах издавали полуторки, подвозившие снаряды к нашим орудиям, так же пахло от медсанбатских машин, только здесь примешивался душок пропитанных кровью бинтов и йода.

Но почему вдруг я почувствовал разные запахи, с которыми была связана война?

Я и сейчас помню сернистые ожоги стужи в сталинградских степях, холод орудий, так за ночь прокаленных морозом, что металл чувствовался сквозь рукавицы, помню пороховую вонь стреляных гильз, жаркий газ от горячего казенника и ледяное безмолвие звездного неба по ночам, пахнущего угрозой и предчувствием беды.

Это и сейчас я порой ощущаю в декабрьские ночи, едва опухнет неожиданно жгучим ветром, будто прилетевшим отсюда... В моей памяти навсегда остался запах мерзлого хлеба, твердого, как камень, ржаных солдатских сухарей, несказанный аромат солдатской «пшенки» из открытого котла наконец-то прибывшей кухни, такой сладостный аромат в застылой фиолетовости зимнего рассвета.

А весна? Чем она пахла? Оттаявшим черноземом, безобразным месивом разбитых колесами проселков, холодком вместе с наплывами тепла из полей, талым снегом в кюветах, возбуждающе терпким дымком махорки в ветерке над головами, нагретыми припекающим солнцем шинелями, захлаюстанными грязью, подоткнутыми за ремень на маршах весенних наступлений. И всех будто радостно охватывало голубыми далями с дрожащим над обнаженными полями парком, когда война отдалена за тридевять земель апрельским солнцем, голубизной простора, теплом, отступлением немцев.

Весенние дни пахли томительной надеждой, неизъяснимой верой в то, что наступит пора, и я вернусь в свое милое Замоскворечье, в свой дворик со старыми купеческими липами и голубятней в тихом переулке.

В знойном же пекле украинского лета прочно стояло горькое удушье черных дымящихся пепелищ, невыветрившийся угарный запах уцелевших печей, торчащих черными столбами среди углей и пепла. И все лето была духота сосновых урочищ, в воздухе тек запах разогретой

солнцем смолы, горячего песка – и преследовала химическая приторность выхлопных газов, наносимых от немецких танков, непрерывно атаковавших нашу батарею на подступах к Днепру.

И до сих пор помню осенний Житомир, оставленный внезапно немцами. Город был пуст, продут ветрами, холоден по-ноябрьски. Везде на вымерших улицах поздняя сырая ночь, мокрые мостовые блестели. Из-за лиловых облаков над куполом темной церкви расплылось ослепительное сияние уже предзимней высокой луны, и в этом лунном свете я видел, как жестяные листья обрывались с деревьев, падали нам под ноги, под копыта лошадей, под колеса орудий. Мы входили в нежданно негаданно занятый нами Житомир в полной тишине. Нигде не слышно было ни голосов, ни смеха, как бывало всегда, когда удачно брали города. Солдаты молчали, ошеломленные затаенным безмолвием улиц, оголенно залитых луной, и влажным запахом осенней ночи, заполнившей все тихой тревогой, которую иногда в предзимнюю пору я ощущаю и сейчас.

И ясно помню серый промокший день в Польше: с утра моросило, далекие тополя мутно проступали в тумане. Наша батарея, утопая колесами орудий, двигалась через разрытое картофельное поле к железнодорожной насыпи, возле которой дымились огромные бурты пшеницы, издали показавшиеся нам холмами.

Дым, прибываемый водяной пылью, полз в нашу сторону, и скоро я почувствовал тепловатый запах тлеющего зерна, смешанный с дымком, сыростью развороченной земли, на которой узлами лежала картофельная ботва. А за смутными тополями, на краю поля, почти беззвучно рвались снаряды, звук их поглощался влагой осени. Не знаю почему, этот сложный запах того тихого сентябрьского дня не забыт мною спустя много лет.

Но чем все-таки объяснить, что чувственная память моя охотно выделяет сейчас столь небольшое, неразительное, выталкивая из себя хаос запахов невезения и несчастья, острых, давящих, тошнотных: липкую сладковато-гнилостную вонь разлагающихся трупов; вызывающий озноб солоновато-пресный запах крови; гнойный запах бинтов; чесночно-луковый яд немецкого тола; забивающий дыхание пыльный ветер от танковых гусениц; прогорклость горелой брони... Законы памяти неисповедимы, неподвластны нам.

Бывает так: ты душевно спокоен, в весенних сумерках идешь по улицам, читая мокрые афиши, ощущая влажный пахучий ветер апреля; зыбко блестит асфальт на мостовой, отражая вечернее небо и уже освещенные, как зеленые аквариумы, троллейбусы; движутся толпы на тротуарах мимо витрин магазинов – мир, будни, смех, тот особый нестеснительный смех людей, когда в их жизни умиротворение, тишина, покой. Это стоит обычный, теплый вечер весны в Замоскворечье, и сиреневые пролеты улиц начинают зажигаться светом в окнах, вспыхивают рекламы кинотеатров, в переулках шуршат велосипедные шины и прыгают по асфальту желтые мячики света; а от перронов уставших за день вокзалов уходят поезда в затянутую дымкой даль с мигающими фонарями стрелок.

И вдруг прощальные гудки паровозов, и вечерние облака, багрово подсвеченные снизу закатом, и запах нефти и шпал, и дымы по горизонту, и купы деревьев за вокзальными зданиями, черные, вырезанные по красному, – все словно толкнет в грудь.

Но как давно это было... Мохнатые зарева широко прорезают тьму на горизонте, багровый отблеск дрожит на проселочных дорогах, в зрачках солдат, шагающих по обочине... Зарево ближе; разваливаются, трещат, будто выворачиваются в пламени дома, дымом затянуты сады, остро, горячо пышет в лицо жаром, и везде этот огонь смерти: на брусчатке уже забытых по названию городов, на осколках витрин, на пряжке ремня безобразно раздутого трупа немецкого солдата, лежащего на площади со странно вывернутой под голову рукой, с красным от по жара стеклом часов на запястье... Город горит, он пуст.

Мы входим в этот пылающий город. На нас дымятся влажные плащ-палатки, дымятся холки лошадей. Мы прикрываем их попонами. Мы идем вперед.

Потом выкатываем орудия на прямую наводку. Немецкие танки, мрачно блестя в зареве броней, точно облитые кровью, медленно отходят за посадку, на шоссе, поджигают окраины. Видно, как зажигательные трассы впиваются в крыши деревянных домов и занимаются огнем стропила.

Мы идем на запад от Сталинграда по снежным степям, металлически скрипящим под ногами в стужу, пестро-черным от воронок, проходим по земле Украины, где помидоры имеют привкус пороховой гари, а яблоки запеклись на обуглившимся яблонях. В темные, осенние, ветреные ночи мы форсируем Днепр, эту реку, озаренную ракетами, по которой плывут трупы, касаясь наших плотов. И между боями, во время короткого отдыха, «на пяточках» правобережных плацдармов лежим, греясь на осеннем солнце, видим, как в желто-золотистых лесах Левобережья встают дымы разрывов, разрушая первозданный покой осени, и листья вместе с осколками летят в густо-синюю воду. Мы думаем: хорошо, если бы в эту воду шлепались поплавки удочек. После лежим на краю окопов, черные, закопченные толовой гарью, в пропотевших гимнастерках, и видим, как косяк «юнкерсов» с тугим гулом разворачивается над переправой.

Мы идем через Польшу; весь горизонт в пожарах; с карпатских высот улицы городов казались нам огненными реками, площади – пылающими озерами. Отступая, гитлеровцы хотели оставить после себя безлюдные пространства.

Если горе имеет свой запах, то война пахнет огнем, пеплом и смертью.

Война – это пот и кровь, это после каждого боя уменьшающиеся списки у полкового писаря, это последний сухарь во взводе, разделенный на пятерых оставшихся в живых, это котелок ржавой болотной воды и последняя сигарка, которую жадно докуривает, обжигая пальцы, наводчик, глядя на ползущие танки.

Война – это письма, которых ждут и боятся получать; и это особая обнаженная любовь к добру и особая жгучая ненависть к злу и смерти; погибшие молодые жизни, непрожитые биографии, это несбывшиеся надежды, ненаписанные книги, не совершившиеся открытия, невесты, не ставшие женами.

Иногда я вижу, как дети играют в войну; в их понимании война – лишь романтика и подвиги. У детей нет той памяти опыта, что есть у взрослых.

В войну мое поколение научилось и любить и верить, ненавидеть и отрицать, смеяться и плакать. Мы научились ценить то, что в силу привычки теряет цену в мирные дни, что становится обыденным: случайно увиденная на улице улыбка женщины, парной майский дождик в сумерках, дрожащий отблеск фонарей в лужах, смех ребенка, впервые сказанное слово «жена» и самостоятельное решение.

Мы научились ненавидеть фальшь, трусость, ложь, ускользающий взгляд подлеца, разговаривающего с вами с приятной улыбкой, равнодушие, от которого один шаг до предательства.

Наша память – это душевный и жизненный опыт, оплаченный дорогой ценой.

Вот почему, когда по случайным ассоциациям – то ли скрежет трамвая на поворотах, напоминающий свист тяжелого снаряда, то ли похожая на пульсирующий огонь пулемета вспышка автогена в каркасе строящегося дома – память возвращает нас к дням войны, мы начинаем больше ценить тишину, спокойный блеск солнца, прозрачность воздуха.

Горький пот и кровь войны (из книги «Мгновения»)

Пыль

...Уже месяц была жара, воздух над училищным двором раскалился так, что ощущался сквозь потную гимнастерку, – духота скапливалась над пропеченным гравийным плацем. Иногда за окнами, замутняя тополя, вставала серая длинная стена – вдоль улицы ползла поднятая военными машинами пыль и переваливалась через заборы, не оседая. Курсанты, загорелые, пропыленные (все время хрустело на зубах), – готовились к экзаменам в классе артиллерии и поминутно выбегали в умывальную, глотали, пахнущую жестью воду из кранов. В классе же помкомвзвода лениво стучал мелом по доске, рисовал схемы огня, смятым носовым платком вытирая пот с красной шеи. Пятна пота выступили и под мышками, расплываясь полукружьями на выгоревшей гимнастерке, а мальчишеские лица курсантов казались отупело-сонными.

И это ощущение зноя и испытал снова, когда по непонятной связи вспомнил вдруг незнакомую женщину, которая стояла возле проходной училища, разговаривала с оживленным офицером в новом кителе, улыбалась ему и загораживала его раскрытым зонтиком от накаленной пыли.

Этот молодой офицер командовал нашей батареей.

Через неделю мы были направлены под Сталинград, и я уже не видел его в живых.

Кто она была ему? Жена? Невеста? Сестра? И помнила ли она тот миг, когда хотела зонтиком защитить и его и себя от огненной пыли?..

Нас было много

...Сразу похолодало, поднялся ветер, снег шуршал в чехлах орудий. Еще фосфорически тлела, не дотлевая, в недостижимой, как прошлое, рваная полоса заката, но и ее душила темнота, заволакивало дымом, пеплом сгоревшего жилья; ветер нес, раздирал голоса команд возле машин, орудий, лошадей, и казалось – там непрерывно происходило какое-то кругообразное завораживающее движение, однако удаляясь и удаляясь к угольно-красной щели заката, где обрывалось...

Нас было много, и мы шли туда, молодые, веселые, не ощущая угрозы непоправимого одиночества.

Но какая безысходность песчинки охватывает меня, когда я думаю, сколько кануло нас в никуда, за той щелью заката, которая в кошмарных снах представляется мне.

Атака

– Что такое атака, спрашиваешь? А ты послушай. Вот перед нами шоссе Москва – Воронеж, а мы за шоссе на Студенческой улице окопались. Атаковать надо было так: броском через шоссе перескочить, ложбину перебежать, взобраться на гору, а на горе врытые немецкие самоходки и танки в упор бьют по шоссе. Ну а за горкой кирпичный завод, который взять приказано. Там крепенько немцы сидят, кинжальным огнем шоссе простреливают, не то что головы, палец не высунешь – рубит насмерть. Но комбату одно: взять завод – и точка, никаких рассуждений. Молоденького младшего лейтенанта нашего, москвича, как помню, в первую минуту убило, когда по сигналу атаки шоссе начали перебежать, и по этому случаю роту я на себя принял – больше некому. А атака в полный день была – все вокруг почище, чем в бинокль видно. Как только мы через шоссе перескочили, самоходки в упор такой огонь стали бешеный давать, что день в ночь превратился – дым, разрывы, стоны, крики раненых.

Понял: в лоб завод не возьмем, на самоходки дуrolомом попрешь – всем братская могила. Самоходки дыбят землю огнем, а я кричу: «За мной, братва, так-перетак! Влево давай! По ложбине, по оврагу, в обход горы, иначе всем похоронки!» И – как угадал в этом соображении. Судьба улыбнулась. Вывел остаток роты в овраг слева от завода, а в овраге железный хлам какой-то, железный мусор, хрен знает что. Рвемся, без голосу орем, бежим по железномухламу, как сквозь колючую проволоку, того и гляди глаза к дьяволам повьколем. А завод – вот он, на горе виден, метров сто пятьдесят. Уже как черти в аду хрипим, в гору почти на карачках лезем, обмундирование на нас о проволоку, об железо в ключья вкось и поперек разодрано, – и все-таки ворвались в завод с тылу, можно сказать.

Помню: пылица в каком-то цехе, спереди немцы из пулеметов по атакующим нашим ребятам режут. Разом ударили мы по ним, вбежали в эту пылицу. Бегу, точно бы вконец обезумелый, строчу из автомата, вижу вспышки в пыли, кричу что-то вроде «вперед» и вроде трехэтажного мата, сам не соображаю что. И тут накрыло меня, будто на голову крыша обвалилась... Очнулся в медсанбате, лежу и чувствую: никак живой, тело, руки, ноги при мне, на глазах – повязка. Хочу сдернуть ее, а мне говорят: погоди, мол, контузило тебя и глаза песком засыпало после снарядного разрыва, мол, не волнуйся. Волнуйся, не волнуйся, месячишко поремонтировали – и опять «вперед»...

На рассвете после боя

Всю жизнь память задавала мне загадки, выхватывая, приближая часы и минуты из военного времени. Сегодня вдруг явилось раннее летнее утро, расплывчатые силуэты подбитых танков и около орудия два лица, заспанных, в пороховой гари – одно пожилое, хмурое, другое совсем мальчишеское – увидел эти лица до того выпукло, что почудилось: не вчера ли мы расстались? И дошли до меня их голоса, как если бы они звучали в траншее, в нескольких шагах:

– Утянули, а? Вот фрицы, тудыть иху муху! Восемнадцать танков наша батарея подбила, а восемь осталось. Вон, считай... Десять, стальной, утянули ночью. Тягач всю ночь в нейтралке гудел.

– Как же это? И мы – ничего?..

– «Как, как!» Раскакался! Зацеплял тросом и тянул к себе.

– И вы не видели? Не слышали?

– Почему не видели, не слышали? Видели и слышали. Я вот всю ночь мотор в лощине слышал, когда ты дрых. И движение там было. Поэтому пошел, капитану доложил: никак, опять атаковать ночью или к утру готовятся. А капитан говорит: подбитые свои танки утягивают. Да пусть, говорит, все равно не утащат, скоро вперед пойдем. Стальной, двинем скоро, школьная твоя голова!

– Ах, здорово! Веселей будет! Надоело тут, в обороне. Страсть надоело...

– То-то. Глуп ты еще. До несурзости. Наступление вести – не задом трясти. Весело на войне только дуракам бывает и таким гусарам, как ты...

Странно, в памяти осталась фамилия пожилого солдата, дошедшего со мной до Карпат. Фамилия же молодого исчезла, как исчез он сам в первом бою наступления, зарытый в конце той самой лощины, откуда немцы ночью вытягивали свои подбитые танки. Фамилия пожилого солдата была Тимофеев.

В окружении. Рассказ лейтенанта

– Всю ночь песни и крики какие-то слышны были, аккордеон играл, похоже, гулянье у немцев. Утром три фигуры появляются у них на бруствере: две женщины, а посерединке офицер немецкий. В бинокль вижу: одна чернявая, грудастая, другая – беленькая, с косами, как девочка. И офицер, графин со шнапсом или самогоном в руке держит. Чернявая виляет бедрами, обняла беленькую, кричит таким звонким голосом: «Не стреляйте, нас послушайте. Мы под большевиками корочку хлеба имели, а теперь при германцах живем хорошо, водку пьем и вам предлагаем!» И указывает на графин в руках офицера. Мой политрук шепчет: «Срежем фрица, а, лейтенант?» А у нас две снайперские винтовки, у меня в командирском окопе. «Нет, – говорю, – немца успеешь, никуда не уйдет. Баб-предательниц. Я левую, ты правую». А чернявая кричит: «Переходите к нам, мы вас в чине повысим, любить будем и командовать дадим!» Я взял в прицел ее. Вижу – смеется, а сама волнуется, тискает за плечо беленькую, а та прижалась к ней, ровно к защите. «Огонь по сволочам-бабам!» – команду. Я черненькую снял. Так и повалилась. Политрук беленькую. Офицер повернулся и бежать. Я его возле самой траншеи настиг.

...Сто пятьдесят человек в моей роте было, двадцать пять пулеметов, шесть командиров и медик-лейтенант. Обрато к своим один командир взвода вырвался и трое солдат, со мной – пять. В сорок четвертом под Яссами командовал я отдельной штрафной ротой.

Помимо наших орудий, шесть батарей немецких. Раз попробовали у меня отобрать пушки немецкие, как по уставу лишние. Я говорю: «Не вы мне трофеи дали, я их в бою кровью отбил. И их же снарядами крошить зверей буду». В общем, что-то со мной случилось после непонятных тех баб. И тогда в сорок первом, когда прорывались мы ночью, бежал я по разбитой дороге в лесу, за мной бойцов четверо, бегу, стреляю, а сам думаю:

«До нас, чертей, миллионы людей умирали. Не мы первые, не мы последние. Но кто ж те бабы? Силой иль пряником их заставили? Или как? Может, не виноваты они?..»

Женственность

Мы ждали своих ребят из поиска.

Никогда не забуду ее лицо, склоненное над рацией, и тот блиндаж начальника штаба дивизиона, озаренный двумя керосиновыми лампами и бурно клокочущим пламенем из раскрытой дверцы железной печки, отчего по блиндажу, чудилось, ходили волны обжитого на короткий срок покоя. Вверху, над накатами, – звезды декабрьской ночи, ни одного выстрела, успокоенность сонного человеческого часа. А здесь, под накатами, лежали мы на нарах, и, засыпая, сквозь дремотную паутинку, я первый встретил разведчиков.

Они вернулись, когда все в блиндаже спали, обогретые печью: вдруг звонко заскрипел снег в траншее, раздался за дверью всполошенный оклик часового, послышались голоса, хлопанье рукавицами.

Когда в блиндаж вместе с морозным паром ввалились, затопали валенками двое рослых разведчиков, с накаленно-багровыми лицами, с заиндевевшими бровями, обдав студеным инеем маскхалатов, когда ввели трех немцев-языков в зимних каскетках с меховыми наушниками, в седых от снега длинных шинелях, когда блиндаж шумно заполнился топотом ног, скрипом мерзлой одежды, дыханием людей, наших и пленных, одинаково прозябших в декабрьских полях, я вдруг увидел, как она, радистка Верочка, будто в оцепеняющем ужасе, встала у своей рации, опираясь рукой на снарядный ящик, увидел, как один из пленных, высокий, показал в заискивающей улыбке молодые зубы, поднял и опустил плечи, как бы желая погреться в тепле, и тут Верочка, кривясь дрогнула лицом, ее волосы мотнулись над сдвинутыми бровями, и, бледнея, она шагнула к пленным, как в обморочной замедленности расстегивая на боку маленькую кобуру трофейного «вальтера».

Немцы закричали заячьими голосами, и тот, высокий, инстинктивно защищаясь, суматошно откатнулся с разъятыми предсмертным страхом глазами.

И она, страдальчески прищурясь, выстрелила и, запрокинув голову, упала на земляной пол блиндажа, стала кататься по земле, истерически дергаясь, вскрикивая, обеими руками охватив горло, словно в удушье.

До этой ночи мы все безуспешно добивались ее любви.

Тоненькая, сероглазая, она предстала в тот миг перед нами совсем в другом облике, разрушающем прежнее – нечто загадочное в ней, что на войне так влечет мужчину к женщине.

Пленного немца она ранила смертельно. Он умер в госпитале.

Но после того наша общая влюбленность мальчишек сменилась неоткрытым сочувствием и даже жалостью к ней, немисливо было представить, как можно теперь целовать эту по-детски непорочную Верочку, на наших глазах сделавшую то, что не дано природой женщине.

Никто не знал, что в сорок втором году в окружении под Харьковом она попала в плен, ее изнасиловали трое немецких солдат, надругались над ней – и отпустили, со смехом подарив свободу.

Ненавистью и мщением она утверждала справедливость, а мы, в той священной войне убивавшие с чистой совестью, не могли до конца простить ее за то, что выстрелом в немца она убила в себе слабость, нежность и чистоту, этот идеал женственности, который так нужен был нам тогда.

Мгновение великой войны

Северный ветер дул с Карпат. На обочине каменистой дороги, ведущей в горы, горел костерок, загороженный щитами двух орудий, которые к сумеркам надо было «на руках» (машины ждали в долине) втащить на высоту, откуда открывался перевал, где в конце ночи гудели танки. Война мне снится все реже, но сегодня на рассвете я вдруг представил дымок костра и утопленные лица солдат моего взвода после ночного боя и долгих усилий при подъеме к перевалу орудий. Теперь они были довольны возможностью передохнуть, используя солдатскую расторопность, хлебнуть кипятку, если успеется.

– Что меня удивило, братцы, когда мы фрицевскую траншею взяли: подле ведерка мыло в футляре и шелковые подштанники лежат, которые против воши, бритва на газетке, а рядом на бруствере – термос, не то со шнапсом, не то с чаем, потом разобрал, что к чему. Круглая пластмассовая коробка со сливочным маслом и бутерброд намазанный. Навроде одной рукой умыться, собрался, другой – закусывать. А сам фриц голый, землей засыпанный, не успел закусыть значит и подштанники переодеть. Я глаза растараканил: ну, думаю, ловкач немец, умудрил все рассчитать! И не рассчитал!

– Ловчее тебя, Оленьков, никого на целом свете не предвидится. Ты-то вчера с ремнем на шее выполз в кусты за окопом, устроился удобно, а фрицевский автоматчик как шарохнет из-за деревьев, гляжу – ваша милость с размаху головой нырь в окоп, как в воду! Только задницей блеснул. Не иначе – ослепил фрица, наверняка в упор контузил. Аха-хо-ечки мои! Хахашечки!

– Ну не забижай очень, ну хохотай, Грунин. Орлом, как на ладони, за бруствером сидеть не будем – решето сделают и имя-отчество не спросят. Ты, сержант, лучше мне плащ-палатку трофейную верни, померил – и ладно. А то шинель у меня, как на младенца. Глазомера у старшины нет. Вместо моей, осколками изгрызенной, выдал чисто грудному ребятенку. Все мудрит, все экономит.

– Ума не произведу: зачем тебе плащ-палатка-то? Росточек у тебя – полметра с макушкой. Палатка на тебе по земле волочится, все коряги собирает. Вроде бредня. А мне – враз. По росту. Не поимей обиду – разношу.

– Стальть, похоже, ты, Грунин, смеешься? Так, что ль? Ну и народ пошел! Рот разинул – того и гляди из-за рта все зубы уташат.

– Не открывай ширше надобности. Оглядывайся.

– Бес ты! Хохотаешь все. И откуда в тебе хохотание берется?

– А ты не волнуйся, нервов не порть. Я тебе вместо палатки трофейный танк подарю или «юнкерс». Домой на нем рванешь. Вот, мол, я.

– Зачем так? Охо-хоечки мои! Смехота с тобой, Грунин!

– Эт-то что тут такое самое? Немцы рядом, а вы костер развели и, как гусаки, гоготаете! Устав забыли? Или шнапсу рванули?

– Садись, старшина, с нами. Устав – как телеграфный столб: перепрыгнуть нельзя, а обойти можно.

– Ладно, ладно, Грунин, философствовать. Тебе все смеяхачки да смехухочки! С какой такой тети Моти атакуешь Оленькова? Он у нас парень-штык. У него шинельку – осколками изгвоздило, ему новенькую выдал. Как с иголки. Чего, чего, Оленьков, физиономию воротить? Шинелька будь здоров!

– На мыша. Иль на грудного...

– Нич-чего. Растянется.

– А рукава-то как раз длинны, товарищ старшина. Ровно у клоуна. Куда им тянуться? До земли, что ль?

– Не рукава длинные, а руки у тебя короткие, браточек ты мой, мой милый голубчик единственный! Ты это брось такие гастроли, ты мне такие штучки не вкручивай. Я ему – шинельку новенькую, не бывшую в употреблении, не с убитого какого-нибудь, а ему – хоть бы хны! Недоволен! Вишь ты, клоуна присобачил!

– Старшина!

– Чего тебе, сержант Грунин?

– Да вот я думаю: люди с большим носом – наверняка гениальные хозяйственники, а с носом Оленькова – личности, затюканные. Согласен или нет?

– Это ты о моем носе? Это у меня большой?

– Не-ет, я хочу сказать, что курица не птица, а старшина дал рикошет. Подбери Оленькову добрую шинельку по росту. А новенькую отдай в детские ясли.

– Чего-о?

– Опять не то подумал. Не плюй в колодец – пригодится утопиться. Ты шинельку приличную раздобудь. А я ему сейчас полы немецкой палатки ножичком укорочу, чтоб метлу не изображал. А то зимой он опять тебя и меня невзначай мордой в снег положит. Как образцовый человек. И будет орать во всю глотку: «Стой, кто идет? Ложись!» Помнишь небось, как мы с тобой в баню из ОВС с мешками белья шли? А Оленьков часовым стоял. Увидел нас и голосит на всю ивановскую: «Стой!» Мы остановились, а он: «Стой! Кто стоит? Ложись! Стрелять буду!» Как лев орал – и положил в снег, молодец, сукин сын, а затвором винтовки, как зубами, щелкал.

– Какой еще лев? Нерадивый солдат... Старшину и командира орудия в снег положил. На формировке я его на гауптвахту нацелил – за то, что в саду у хозяйки сливы и яблони начисто обтряс. Для всей батареи, вишь, добрый какой: привели его на гауптвахту, а она переполнена свистунами из второй батареи. Все поголовно свистуны. Сливками обожрались на том же основании. Что такое? Мест нет. Оленькова – назад. И так два дня водили. Пополнение прибывало из всего полка. Садов-то тут – вагон и маленькая тележка. Оре-ел, хрен его возьми, курицины перья! Чего улыбишься, Оленьков? Муха в ноздрю попала?

– Да я ничего, товарищ старшина. Я – так.

– Чего «ничего»? Наверняка в животе еще карусель крутит!

– Да нет, ничего. Причина была курьезная. Повара-то нашего где-то в тылах дьяволы живьем съели с его пшенкой. Вот мы кулацкие садочки и пощупали, потрясли малость, чтобы бендеровские жеребцы от злобы выли.

– Шелудивость, большая хитрость да коварность в тебе сидит, вот что я тебе скажу, друг ты мой золотой, сердечный. Ты, что же, за желудочное расстройство повара и меня хочешь повинить?

– Перебор, старшина, перебор. Оленьков – первоклассный наводчик, во всем полку поискать – и мне как командиру орудия ни за какие пряники лучшего не надо!

– Печник он воронежский, вот он кто, а не наводчик. Просто везет ему. Везение ему прет! Глаз он под твоей командой наострил, сержант. А так – быстрый хапок у него – и танк с копыт. Вот как понимать надо. А вообще-то: печи ему класть, а не танки ковырять.

– Я б с моим удовольствием, товарищ уважаемый старшина. Плохая печь ведь сама сложится. А ты хорошую сложи. Каждая печь особый характер имеет. Так и прицел. Иной после каждого выстрела сбивается, дьявол, а ты сумей сперва под сошники подладить умные упоры. Печник и каменщик работу свою снизу начинают. Штукатур и маляр, знаешь ты, сверху, товарищ старшина уважаемый.

– Снизу, сверху... Злишь, что ли, меня несуразными разговорами?

– Никак нет. Не имею права. С начальством не шуткуют. Не имею привычки. Вот ежели бы я вам печь складывал на гражданке, в родной вашей деревне, а вы меня шибко обидели, тогда пошутковать можно. Вставить бутылочку со ртутью в печь – ребеночек плачет. Ребя-

тенка, скажем, нет, а орет день и ночь, аж у всех глаза на лоб лезут. Бутылка нагревается, ртуть гоняет – получается или крик совы или ребенка. А то еще яйцо – в краску, тут запах в комнате непотребный. Хоть святых выноси. Это маляры озорничают когда.

– Аха-хохнички мои! Ну, насмешил, Оленьков! Ну прямо артист, едрена мышь! Бери свою трофейную палатку, я ножом полы подрезал, будешь как балерина, по грязям шастать. Бери! Да расскажи старшине про мужика утоплого, он этого еще не слышал.

– Это мы можем. Рассказ с соображением. Муж, понимаешь, тонет в реке, совсем уж пузыри пушает, а жена ему с берега кричит, аж до визгу: «Говорила я тебе, шут гороховый, такой-сякой, деньги с собой не бери, говорила тебе, сатана, дурак! Деньги кидай! Не то я тя, язвину, кочергой дома-то по хребту налажу, козлом взвоешь!»

– Дак вы что? Шнапсу трофейного надрались? С какой это бредовины байками меня кормите? Я вам кто такой? Акулька из Соплевки? Хрен моржовый? Или старшина батарееи? А эт-то что за фляжка, Грунин?

– Не видишь разве? Обыкновенная. Фрицевска. Но мы ребята трезвые. Конечно, божью росинку по глотку попробовали. Но глаза не залили. Эту гробину на себе в гору тащить – трактором быть надо. Ребята и притомились, пусть подремлют. Угошайся, старшина, после боя передых полагается.

– Передых, передых!.. Передых на том свете будет! Там отдохнем, наспимся! Много ты своим солдатам позволяешь, сержант Грунин. Ладно, передых, так передых. Давай сюда фрицевскую отраву. Хлебну глоток, и фляжку в кусты забрось. Чтоб соблазну не было.

– А я? Я даже не понюхал! В руках подержал. Мне тоже глоточек! Я что – рыжий?

– Так-ак, Оленьков, тебе шинель или глоток? Выбирай! Пока я добрый!

– И шинель, и маленький глоток. А потом фляжку, будьте ласка, вручите нашему сержанту. Запас не гвоздь в сапоге и не ширинка на заднице, извините.

– Ну и хитрованы у тебя ребята, Грунин. У тебя все такие?

– А вот вопрос: почему ты Оленькову шинель выдал на грудного младенца? Будто кого-то обхитрил. Себя, выходит, облапошил. И нам вот бы косую хватило ума обхитрить. Поэтому я в расчет хитрованных подбираю.

Ясно слышу голоса солдат, похрапыванье спящих вокруг костра, вижу круглое, со светлой щетинкой бровей, со вздернутым носом плутоватое лицо Оленькова, круглого и быстрого, как футбольный мяч, на коротких ногах, обутих в широкие, раструбом немецкие сапоги, феноменального орудийного наводчика, общего любимца в батарее. Вся покатая грудь его усыпана орденами и медалями с засаленными колодками (у него была привычка вытирать руки о грудь), за форсирование Днепра он был представлен к герою, но награды не получил. То ли она не шла, задержанная начальством, к его футбольно подобной комплекции, то ли его подвижная, казалось, беспечная натура не соответствовала высокому знаку. Да он, кажется, и не жалел об этом, занятый не честолюбием, не упорным желанием выжить, а самой жизнью на войне, какой бы она ни была. Он знал все об орудийном деле. «Учись, как чистят пушку, ежели не по уставу, а начальство вот-вот нагрянет? Запоминай. Паклю окунают в солярку. Поджигают. Кладут в ствол. Ствол поднять высоко. Огромная тяга – пакля сгорает. Ровно в большой печи. Ствол, как стекло».

Я как-то сказал ему: «Что-то запаздывает твоя награда, Оленьков». Он засмеялся: «А на хрена козе рояль фирмы „Бэккера?“» – «То есть?» – «Придешь в родимый городок, грудь колесом, на колесе – звезда, все девки из окон горохом посыпятся. Выбирай – глаза расфуфырятся на все горизонты, как у рака, туда-сюда закосят, не дай Бог, ржать начнешь, как стоялый на конюшне. Лучше полегоньку клинья подбивать».

Я слышу голос Оленькова, вижу, как у старшины с непонятной фамилией Галабурда неодобрительно косятся подбрившие брови, а глубоко посаженные антрацитные глаза делают его узкое лицо еще уже. Он сидит на корточках перед костром в хромовых сапожках, собран-

ных гармошкой, в комсоставских галифе и гимнастерке, затянутой, как корсетом, комсоставским ремнем, щеголеватый старшина, краса батареи. Но когда он начинал говорить, то, казалось, готов был мгновенно вспылить, разозлиться, выругаться, показывая металлический оскал зубов. Он не пользовался расположением солдат, был экономен и скуп. Но иные офицеры считали его расчетливым хозяином. В то же время он прочно держался убеждения, что для начальства в первую очередь интересен вопрос: точно ли сделано, как приказано? И лишь во вторую очередь могут спросить: какими средствами, но могут и не спросить. Офицеры у него обедали почти по ресторанному меню, часто с французским коньяком, в достатке взятым на трофейных складах с остальными деликатесами. На формировке, на отдыхе он любил строем водить батарею и при встрече с начальством с воинственным треском «печатал ножку», мастерским вывертом бросал руку к хрящеватому уху и докладывал следующим образом: «Товарищ капитан, при транспортировании батареи в столовую никаких происшествий не произошло! Шли с песнями!» Приведя же батарею в расположение, долго не распускал строй, стоял с напряженной шеей, любовался собой и строем, наигрывая связкой ключей, сурово прищуриваясь: «Команды „вольно“ не было! Кто там подмышками очищается? В бане воды не хватило? Смирно! Вольно! Разойдись!»

Старший сержант Грунин, командир орудия, гигантский детина, человек во всех смыслах бесстрашный, наслаждаясь «командерством старшины», начинал хохотать, падая огромным телом на траву, и, не обижая старшину, делал вид, что чешет спину, гоготал до того, что заражал смехом всю батарею.

Да, я всех слышу, вижу, чувствую их дыхание как если бы грелся сейчас с ними возле костра в осенних Карпатах. Позднее оплаканные мною вызывают во мне какую-то новую любовь, такую тоску невыносимую, что я уже не сомневаюсь: после той великой войны я остался из однополчан совершенно один на свете и скоро приду к ним, сяду около костра, в том, другом мире, но вряд ли услышу их голоса, увижу их лица, тот придорожный костер...

Мое поколение

Когда прошли равнины Польши и приблизились к границе Чехословакии, полузабытый довоенный зеленый мир юности приблизился вдруг, стал сниться нам в глухие осенние ночи под мрачный скрип сосен, под стук пулеметных очередей на высотах. Тогда преследовали меня одни и те же сны – в них все было «когда-то»...

Просыпаясь в окопе, я чувствовал, как рассветным холодом несло с вершин Карпат, как холодела под туманом земля, исчерненная воронками. И, глядя на спящих возле орудий солдат, с усилием вспоминал сон: в траве знойно трещали кузнечики, парная июльская духота стояла в окутанном паутиной ельнике, потом с громом и с молниями обрушивалась лавина короткого дождя; затем – на сочно зазеленевшей поляне намокшая волейбольная сетка, синий дымок самоваров на даче под Москвой.

И как бы несовместимо с этим другой сон: крупный снег, неторопливо падающий вокруг фонарей в переулках Замоскворечья, мохнатый снег на воротнике у нее, имя которой я забыл, белеет на бровях, на ресницах, я вижу внимательно поднятое лицо; в руках у нас обоих коньки. Мы вернулись с катка. Мы стоим на углу, и я знаю: через несколько минут надо расстаться.

Эти несвязные видения не были законченными снами, это возникало как отблеск, когда мы глохли от разрывов снарядов, режущего визга осколков, автоматных очередей, когда ничего не существовало, кроме железного гула, скрежета ползущих на орудия немецких танков, раскаленных до фиолетового свечения стволов, потных лиц солдат, наводчика, приникшего к наглазнику панорамы, осиплых команд, горящей травы вблизи огневой.

Удаляясь, уходя из дома, мы упорно шли к нему. Чем ближе была Германия, тем ближе был дом, тем быстрее мы возвращались в прерванную войной юность.

Нам было тогда и по двадцать лет и по сорок одновременно.

За четыре года войны, каждый час чувствуя огненное дыхание смерти, молча проходя мимо свежих бугорков с надписями химическим карандашом на дощечках, мы не утратили в себе прежний мир юности, но мы повзрослели на двадцать лет и, мнилось, прожили их так подробно, так насыщено, что хватило бы на жизнь двум поколениям.

Мы узнали, что мир и прочен, и зыбок. Порой мы ненавидели солнце – оно обещало летнюю погоду и, значит, косяки пикирующих «юнкеров». Мы узнали, что солнце может ласково согреть не только летом, но и поздней осенью, и в жесточайшие январские морозы, но вместе с тем равнодушно обнажать во всех деталях недавнюю картину боя, развороченные прямыми попаданиями орудия, тела убитых, которых еще вчера мы называли по имени. Мы узнавали мир вместе с человеческим подвигом и страданиями.

Кто из нас мог сказать раньше, что трава может быть аспидной и закручиваться спиралью от разрывов танковых снарядов? Кто мог представить, что когда-нибудь увидит на женственных ромашках, этих символах любви, капли крови твоего друга, убитого автоматной очередью?

Мы входили в разрушенные города, зияющие провалами окон и подъездов; поваленные фонари с разбитыми стеклами не освещали толпы гуляющих на израненных воронками тротуарах, и не было слышно смеха, не звучала музыка, не загорались огоньки папирос под обугленными тополями парков.

В Польше мы увидели гигантский лагерь уничтожения – Освенцим, фашистский комбинат смерти, день и ночь работавший с дьявольской пунктуальностью, окрест него весь воздух пахнул запахом человеческого пепла.

Мы узнали, что такое фашизм во всей его человеконенавистнической наготе. За четыре года войны мое поколение познало многое, но наше внутреннее зрение воспринимало только две краски: солнечно-белую и масляно-черную. Радужные цвета спектра отсутствовали.

Мы стреляли по черным крестам танков и бронетранспортеров, по черной свастике, по средневеково-черным готическим городам, превращенным в крепости.

Война была беспощадной и грубой школой, мы сидели не за партами в аудиториях, и перед нами были не конспекты, а бронебойные снаряды и пулеметные гашетки. Мы еще не обладали жизненным опытом и вследствие этого не знали простых вещей, в будничной жизни, – мы не знали, в какой руке держать вилку, и забывали обыденные нормы поведения, мы скрывали нежность и доброту. Слова «книги», «настольная лампа», «благодарю вас», «простите, пожалуйста», «покой», «усталость» звучали для нас на незнакомом и несбыточном языке.

Но наш душевный опыт был переполнен до предела, мы могли плакать не от горя, а от ненависти и могли по-детски радоваться весеннему косяку журавлей, как никогда не радовались – ни до войны, ни после войны. Помню, в предгорьях Карпат первые треугольники журавлей появились в небе, протянулись в белых, как прозрачный дым, весенних разводах облаков над нашими окопами – и мы зачарованно смотрели угадывали их путь в Россию. Мы смотрели на них до тех пор, пока гитлеровцы из своих окопов не открыли автоматный огонь по этим косякам, трассирующие пули расстроили журавлиные цепочки, и мы в гневе открыли огонь по фашистским окопам.

Неиссякаемое чувство ненависти в наших душах было тем ожесточеннее, чем раннее было ощущение юного и солнечного мира наших ожиданий – все это жило в нас, снилось нам. Это сообщало нам силы, рождало терпение. Это заставляло нас брать высоты, казавшиеся недоступными.

Наше поколение – те, что остались в живых, – вернулось с войны, сумев сохранить в себе этот чистый, лучезарный мир, непреходящую веру в будущее, в молодость, в надежду. Но мы стали непримиримее к несправедливости, добрее к добру, наша совесть стала вторым сердцем. Ведь эта совесть была оплачена кровью. И вместе с тем четыре года войны мы сохраняли в душе естественный цвет неба, улыбку любимой женщины, мягкий блеск фонарей в сумерках и вечерний снегопад...

Война уже стала историей. Но так ли это?

Для меня ясно одно: главные участники истории – это Люди и Время. Не забывать Время – значит не забывать Людей, не забывать Людей – значит не забывать Время. Быть историчным – это быть современным. Количество дивизий, участвовавших в том или ином сражении, со скрупулезной точностью подсчитывают историки. Да, они подсчитывают количество потерь, определяют вехи Времени. Но они не смогут подслушать разговор солдат в окопе перед атакой, увидеть слезы в глазах восемнадцатилетней девушки-санинструктора, умирающей в полутьме полуразрушенного блиндажа, вокруг которого прорвавшиеся немецкие танки, ощутить треск пулеметной очереди, убивающей жизнь.

В нашей крови пульсируют токи тех людей, что жили в Истории. Они не знали и не могли знать, что знаем мы, но они чувствовали то, что уже не чувствуем мы. При ежесекундном взгляде в лицо смерти все обострено, сконцентрировано в человеческой душе.

И вот этот фокус чувств чрезвычайно дорог мне.

Заметки и воспоминания

Сталинград

В аккуратном чистеньком номере мюнхенской гостиницы мне не спалось. Фиолетовый сумрак декабрьской ночи просачивался сквозь залепленное снегом окно, вкрадчиво-дремотно пощелкивало в тишине электрическое отопление, а мне казалось невероятным, что я нахожусь в немецком городе, откуда началось все: война, кровь, концлагеря, газовые камеры.

Я вдруг отчетливо вспомнил утренний разговор с мюнхенским издателем и стал просматривать газеты. И тотчас в глаза бросился крупный заголовок – «Сталинград», а под ним несколько фотографий: суровая сосредоточенность на лицах немецких солдат за пулеметом среди развалин города, танковая атака в снежной степи, молодцеватый автоматчик, расставив ноги в сапогах-раструбах, хозяином стоит на берегу Волги.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.